МЕСЯЦ ПОКАЯНИЯ

Тридцать дней, чтобы не влюбиться в палача



Книга 1

ИРИНА СОЛОВЬЕВА

Ирина Соловьева

Месяц покаяния

«Автор»
2026

Соловьева И.

Месяц покаяния / И. Соловьева — «Автор», 2026

Меня застрелили на задержании в 23:47. Очнулась я в каменной камере, в чужом теле и с чужим приговором. Илайну Корвель признали виновной в убийстве наследного принца, и через тридцать дней её сожгут драконьим огнём. Теперь это мой огонь.Трое свидетелей поклялись на камне, который сжигает лжецов, и ни один не обжёгся. Отец отрёкся, жених вернул письмо нераспечатанным. На моей стороне только двенадцать лет следственного опыта и золотые точки на запястье, которые гаснут каждую полночь.И ещё палач. Последний дракон королевства, который не умеет лгать, никого к себе не подпускает и почему-то греет пол у моей двери. Он должен поднять на меня руку. Но его огонь впервые за десять лет не отзывается.Тридцать дней, чтобы найти убийцу. Тридцать дней, чтобы не влюбиться в того, кто тебя сожжёт.

© Соловьева И., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 9
Глава 3 13

Ирина Соловьева
Месяц покаяния

Глава 1

Дождь в Петербурге никогда не идёт сверху. Он идёт отовсюду: со стен, с крыш, из-под колёс, из самого воздуха, и к концу смены ты уже не помнишь, каково это — быть сухой.

Я стояла в арке на Обводном и смотрела, как вода стекает с козырька соседнего склада. Склад был старый, кирпичный, с выбитыми окнами второго этажа. По оперативке выходило, что внутри сидит человек, которого мы искали четыре месяца. Три трупа, ни одного свидетеля и одна-единственная ошибка: он позвонил матери с новой сим-карты.

— Ланская, — прошуршало в наушнике. — Группа на месте. Ждём команду.

— Ждём, — сказала я.

Мы ждали. Это и есть девяносто процентов работы следователя: ждать, смотреть и не верить ничему, что нельзя потрогать руками. Остальные десять процентов — бумаги. Романтики в профессии примерно столько же, сколько сухого места на Обводном канале.

Часы на запястье показывали 23:41. Мой напарник Гоша, который в этот момент сидел в машине с термосом, сказал бы, что я слишком часто смотрю на часы. Гоша вообще много чего говорил. Например, что тридцать два — не возраст, чтобы ночевать на работе, и что мне нужен кто-то, кто будет ждать меня дома. Я отвечала, что меня ждёт кот. Кота у меня не было, но аргумент работал.

23:44. В окне второго этажа мелькнул свет — короткий, как от экрана телефона.

— Движение на втором, — сказала я. — Заходим.

Всё произошло так, как происходит всегда: быстро, громко и совсем не так, как на схеме. Ребята пошли через главный вход, я — через боковую дверь, которую мы присмотрели ещё днём. Ржавые петли, лестница, запах сырой извёстки и мышей. Фонарь выхватывал из темноты куски стен с облезлой краской.

Второй этаж был пуст.

Не так, как бывает пусто, когда человек ушёл. Так, как бывает, когда его здесь никогда не было. Ни окурков, ни следов на пыльном полу, ни той особой духоты, которую оставляет после себя живое тело. Только посреди комнаты на ящике лежал телефон экраном вверх и светился.

Я подошла ближе. На экране было открыто фото. Моё фото — у подъезда, с пакетом из круглосуточного, сделанное явно позавчера.

И тогда до меня дошло. Не он сидел в засаде. Я.

— Гоша, — сказала я в рацию очень спокойно, потому что паниковать в рацию — последнее дело. — Это подстава. Всем назад…

За спиной скрипнула доска.

Я успела развернуться. Это я помню точно, потому что потом много раз прокручивала в голове: я развернулась, и луч фонаря упал на фигуру в дверном проёме. Высокий, в тёмной куртке с капюшоном. Лица я не разглядела. Только руку с пистолетом и странный знак на запястье, будто выжженный: круг, перечёркнутый двумя линиями.

Выстрела я не услышала. Говорят, свой выстрел никогда не слышишь. Меня просто ударило в грудь, мягко и тяжело, как будто кто-то с размаху положил на меня мешок с песком, и пол качнулся навстречу.

Я лежала на спине и смотрела в потолок, где сквозь дыру в перекрытии капал дождь. Капля. Ещё капля. Было не больно, только очень холодно, и почему-то хотелось смеяться: вот тебе и кот, Гоша.

Человек подошёл и присел рядом на корточки. Я видела только тёмный провал капюшона.

Он что-то сказал. Тихо, почти ласково, как говорят с ребёнком, который никак не может уснуть. Слова тонули в шуме крови в ушах, и я разобрала только последние два:

— …найди её.

Найди кого?

Я хотела спросить. Правда хотела — это профессиональное. Но губы не слушались, а рука, которую я подняла к лицу, двигалась медленно, будто под водой.

Стекло часов треснуло, когда я падала. Под трещиной стрелки показывали 23:47.

Это было последнее, что я увидела в своей жизни.

* * *

Сначала вернулся холод.

Не тот мокрый питерский холод, к которому я привыкла, а другой — сухой, каменный, идущий снизу. Я лежала на чём-то жёстком, и это жёсткое кололось. Солома, поняла я, не открывая глаз. Пахло сыростью, железом и почему-то лавандой.

Потом вернулась боль. Не в груди, где ей полагалось быть, а в горле. Глотать было так больно, что на глазах выступили слёзы.

Я открыла глаза.

Потолок был сводчатый, из грубого серого камня. Высоко под ним, в стене, темнело узкое окно, забранное решёткой. Сквозь решётку падал бледный свет — то ли раннее утро, то ли поздний вечер.

Больница, сказала я себе. Старый корпус какой-нибудь областной больницы, куда меня зачем-то привезли. Хорошая версия. Удобная. Одна беда: в больницах не стелют солому.

Я села. Мир качнулся, и я переждала, вцепившись пальцами в край деревянного настила.

Пальцы были не мои.

Я смотрела на них долго, как на улику, которую принесли в пакете. Тонкие, длинные, с аккуратными ногтями и без единой заусеницы. У меня никогда не было таких рук. У меня были короткие ногти, сбитые костяшки и мозоль на указательном от спускового крючка, заработанная на стрельбище. Здесь мозоли не было. На безымянном пальце левой руки белела полоска кожи — след от кольца, которое носили годами и совсем недавно сняли.

Спокойно, Ланская. Сначала факты, потом выводы.

Я провела ладонью по голове. Волосы — длинные, ниже лопаток, спутанные, тяжёлые. Я поднесла прядь к свету: тёмно-рыжая, почти медная. Свои волосы я стригла под каре и красила в один и тот же каштановый уже десять лет.

Тело было легче моего и как будто моложе. Колени не ныли, спина не напоминала о себе. На мне было длинное платье из тонкой серой шерсти, когда-то, видимо, дорогое, а теперь мятое и грязное по подолу.

Я осторожно коснулась шеи и зашипела от боли.

Кожа под пальцами была горячей и припухшей. Я ощупывала её медленно, по сантиметру, как учили на курсах судмедэкспертизы, которые я когда-то проклинала. Справа — четыре овальных пятна, одно под другим. Слева — одно, крупнее. Классика. Так выглядят следы пальцев, если душить человека спереди одной рукой. Или сзади двумя.

Кого-то душили. Не меня — меня застрелили. Но эту шею, в которой я сейчас сидела, сжимали так, что гортань до сих пор горела огнём.

В таких случаях обычно не выживают.

Я закрыла глаза, и тут пришло это.

Не воспоминание — скорее вспышка, как кадр из чужого фильма. Огромный зал, свечи, сотни свечей в хрустальных люстрах. Музыка. Мужская рука в белой перчатке протягивает

мне бокал. Потом — темнота коридора и кровь. Очень много крови на светлом паркете, и мои руки в ней по запястья, и чей-то крик, высокий и долгий.

И имя. Оно всплыло само, как пузырь со дна:

Илайна.

Меня так звали. То есть — не меня. Её.

Я открыла глаза, дыша часто и неглубоко, и, чтобы не думать, заставила себя осмотреть камеру. Шесть шагов в длину, четыре в ширину. Деревянный настил с соломой. Ведро в углу. Кувшин с водой у двери. Дверь — тяжёлая, дубовая, окованная железом, с маленьким зарешёченным окошком на уровне глаз. Ни ручки изнутри, ни замочной скважины.

И часы.

Они висели на стене напротив, и это было так нелепо, что я не сразу их заметила. Круглый медный циферблат размером с тарелку, в простой железной оправе. Вместо цифр по кругу шли двенадцать знаков, похожих на руны. Две стрелки, тонкие и чёрные.

Я встала и подошла ближе, держась за стену.

Знаки я не понимала. Но часы — это часы. Двенадцать делений, круг, стрелки. Большая стрелка замерла в трёх делениях от верхней точки, не доходя до неё. Маленькая почти легла на ту же верхнюю отметку.

Без тринадцати двенадцать.

Я смотрела на стрелки целую минуту, потом ещё одну. Они не двигались. Из часов не доносилось ни звука — ни тиканья, ни механического шороха.

Они остановились. Без тринадцати двенадцать. 23:47.

Мне вдруг стало очень холодно, гораздо холоднее, чем от каменного пола. Я машинально посмотрела на своё левое запястье, где должны были быть мои часы с треснувшим стеклом. Запястье было голым, тонким и бледным, с голубой ниткой вены.

Совпадение, сказала я себе. Я не верю в совпадения — это тоже профессиональное, — но иногда они случаются. Часы где-то остановились, моё сердце где-то остановилось. В мире каждую минуту что-нибудь останавливается.

Я повторила это трижды и всё равно не поверила.

* * *

Шаги я услышала издалека. Тяжёлые, неторопливые, с металлическим позвякиванием на каждом шаге — ключи на поясе или шпоры. Шаги остановились у моей двери, и окошко в ней со скрежетом отъехало в сторону.

В проёме показалось лицо. Молодое, круглое, с жидкими светлыми усиками, которые их обладатель, видимо, считал признаком мужественности. Парень лет девятнадцати в стальном шлеме, великоватом на размер.

Увидев меня у стены, он отшатнулся так резко, что шлем стукнул о косяк.

— Очнулась, — выдохнул он и сделал пальцами какой-то знак, будто стряхивал с них воду. — Светлые боги. А лекарь говорил, до утра не дотянешь.

— Лекарь? — Голос вышел хриплым карканьем, и я поморщилась. — Какой лекарь?

— Ночью приходил. Сказал, глубокий обморок, сердце еле бьётся. — Парень смотрел на меня так, будто я была змеёй, которая вдруг заговорила. — Сказал, может, оно и к лучшему, что тихо отойдёшь. Без огня.

Ночью. Я запомнила это слово и положила на отдельную полочку в голове, как кладут в пакет найденную на месте гильзу. Ночью кто-то приходил в камеру. Ночью эту шею кто-то сжимал так, что «сердце еле бьётся».

— Где я? — спросила я.

Он моргнул.

— В Чёрной башне, где ж ещё.

— В какой стране? В каком городе?

Теперь он смотрел на меня уже не как на змею, а как на змею, которая сошла с ума.

— Ты что, головой ударилась? Астрен. Королевская тюрьма. — Он помолчал и добавил с мстительным удовольствием, будто долго ждал случая это сказать: — За убийство его высочества принца Эдрика.

Илайна. Бальный зал. Кровь на паркете.

Я медленно опустилась на край настила, потому что ноги вдруг перестали держать.

— Был суд? — спросила я.

— Вчера. — Парень приосанился. — Весь город гудел. Магистр Орвен сам вёл Клятву Истины. Трое свидетелей, и ни один не обжёгся. Так что не надейся, ведьма. Тридцать дней покаяния — и очищающее пламя.

— Пламя, — повторила я.

— Драконий огонь. Тебя ж знатная, тебе виселица не положена. — Он почти сочувственно хмыкнул. — Палач придёт на рассвете, объявит срок по обряду. А капитан Грейл велел, как очнёшься, сразу его звать. Так что сиди тихо.

Окошко захлопнулось. Шаги со звоном удалились.

Я сидела на соломе в чужом платье, в чужом теле, с чужим приговором и пыталась собрать это в одну схему, как собирала сотни раз на белой доске в кабинете. Слева — факты. Справа — версии. Посередине — то, чего не хватает.

Факт: меня застрелили в 23:47 на складе у Обводного канала.

Факт: я жива. Или что-то, что можно назвать мной.

Факт: тело, в котором я нахожусь, принадлежит женщине по имени Илайна, осуждённой за убийство принца.

Факт: этой ночью Илайну душили. Скорее всего, тот самый «лекарь», который потом невозмутимо сообщил страже, что она тихо отходит. И если бы не я, она бы отошла. Точнее — она и отошла.

Факт: часы на стене остановились в 23:47.

Версия: я сошла с ума. Вполне рабочая версия, и, честно говоря, самая утешительная.

Версия: я умерла, и это ад. Проверить пока нечем.

Версия: кто-то убил Илайну в ту самую минуту, когда убили меня. И это не совпадение.

Я посмотрела на часы. Стрелки стояли на месте, тонкие и чёрные, как два вопросительных знака.

Найди её, сказал человек в капюшоне.

Найти кого? Илайну? Так вот она — я в неё одета. Убийцу принца? Убийцу Илайны? Мне не нравилась ни одна из этих мыслей, но они уже выстраивались в голове ровными столбиками, как выстраиваются всегда, когда начинается настоящее дело.

У меня было тридцать дней. Мне случалось раскрывать дела и быстрее.

Правда, ещё ни разу жертвой не была я сама. Да ещё дважды.

Глава 2

Капитан Грейл пришёл через час и принёс с собой табурет.

Это первое, что я о нём узнала, и, как потом выяснилось, одно из самых важных. Охранник у двери стоял, вжавшись в косяк. Капитан же поставил табурет посреди камеры, сел, положил на колени толстую книгу в кожаном переплёте и устроился так, будто собирался провести здесь весь день. Человек, который приносит с собой табурет, никуда не торопится. С такими труднее всего.

Ему было за сорок — точнее я бы не сказала. Седина на висках, короткая жёсткая борода, светлый шрам на подбородке. Серые глаза, очень спокойные и очень усталые, как у человека, который давно разучился удивляться. Форма сидела на нём хорошо, но без щегольства. На левом запястье — широкий кожаный наруч, потёртый на сгибе. На правом ничего.

— Тобиас Грейл, капитан стражи Чёрной башни, — сказал он. — Мы встречались, леди Корвель, но вы вряд ли запомнили. Вы тогда были заняты: кричали.

— Не помню, — честно сказала я.

— Охотно верю. — Он раскрыл книгу. Внутри были расчерченные от руки столбцы, мелкий аккуратный почерк, даты, имена. — Как вы себя чувствуете?

Вопрос был задан тем же тоном, каким спрашивают о погоде. Я подумала, что на моём месте Илайна, наверное, заплакала бы. Или потребовала бы адвоката, или как тут это называется. А я сидела на соломе и смотрела на журнал у него на коленях с профессиональной жадностью: мне до зуда в пальцах хотелось его полистать.

— Как человек, которого душили, — сказала я.

Капитан поднял на меня глаза. Пауза была короткой — полсекунды, может, меньше.

— Лекарь записал обморок.

— Лекарь ошибся. — Я отвела волосы и повернулась к свету. — Четыре пятна справа, одно слева. Правая рука или две руки сзади. Отёк гортани. Если хотите, могу нарисовать.

Он встал, подошёл и посмотрел. Смотрел внимательно, не прикасаясь, наклонив голову. Потом вернулся на табурет.

— Синяки есть, — признал он. — Но в камеру никто не входил, кроме лекаря и стражи. А стража стоит у двери всю ночь.

— Тогда, может быть, стоит допросить лекаря? И стражу?

— Может быть, — согласился он, и я с досадой поняла, что «может быть» в его исполнении означает «нет». — Хотя по опыту скажу: осуждённые в первую ночь часто делают с собой странные вещи. Бьются о стены. Пытаются... — он едва заметно повёл подбородком в сторону моей шеи, — разное.

Я представила, как Илайна душит сама себя, и мне стало смешно. Нервно, некстати смешно.

— Сама себя задушить невозможно, капитан. Теряешь сознание, и пальцы разжимаются. Это любой судмедэксперт скажет. — Я осеклась. — Любой лекарь.

Вот тут бы ему и спросить, что такое судмедэксперт. Я ждала этого вопроса и уже приготовила какую-то ерунду про старое столичное слово. Но капитан только сделал пометку в журнале и спросил о другом:

— Что вы помните о ночи бала?

— Ничего.

— Совсем?

— Свечи. Музыку. Кровь. — Я пожала плечами. — Потом камеру.

— А до этого? Что вы помните последним — не о бале, а вообще?

Он задал этот вопрос мягко, почти рассеянно, глядя в свои записи. Но перо в его руке замерло над страницей.

Склад на Обводном. Телефон с моей фотографией. Дождь сквозь дыру в перекрытии.

— Ничего, — сказала я. — Как будто стёрли.

Перо снова побежало по бумаге.

— Такое случается, — сказал капитан. — После сильного потрясения. Возможно, память вернётся. Возможно, нет. — Он поднял голову. — Возможно, так даже лучше.

Он рассказал мне о деле коротко и сухо, как зачитывают протокол. Принца Эдрика нашли мёртвым в Восточной галерее дворца за полчаса до полуночи. Удар кинжалом под рёбра, один, точный. Над телом стояла я — то есть Илайна — с этим кинжалом в руке, в крови по локоть. Первой меня увидела моя сводная сестра Мирра. Потом прибежали гвардеец и камердинер принца. Все трое под Клятвой Истины подтвердили, что видели, как я ударила.

— Клятва Истины, — повторила я. — Что это?

Капитан посмотрел на меня долгим взглядом.

— Вы правда ничего не помните, — сказал он, и это был не вопрос.

— Правда.

— Магистр Орвен проводит обряд. Свидетель кладёт руку на камень Клятвы и говорит. Если он лжёт, камень сжигает ему ладонь до кости. — Капитан закрыл журнал. — Никто не обжёгся, леди Корвель. Ни один из троих.

Я помолчала.

— А если свидетель не лжёт, но ошибается? Видел одно, а подумал другое?

— Камень проверяет не то, что вы видели. Он проверяет, верите ли вы в то, что говорите. — Капитан встал и взял табурет. — Они верили.

У двери он обернулся.

— Палач придёт на рассвете. Обряд короткий, бояться нечего. По крайней мере, пока. — Он помолчал. — Ваша служанка просила позволения навестить вас. Я разрешил. Не благодарите.

Дверь закрылась.

Я сидела и смотрела на то место, где стоял табурет. Что-то царапало меня в этом разговоре, как камешек в ботинке, но я никак не могла понять что. Потом решила, что дело в табурете: человек, который приносит с собой табурет, знает, что ему здесь рады не будут, и заранее устраивается поудобнее.

Я решила, что он мне нравится. Насколько вообще может нравиться тюремщик.

Уже потом, гораздо позже, я поняла, что царапало на самом деле. Но в тот день у меня были дела поважнее.

* * *

Нисса пришла под вечер, когда свет в окне стал медовым, а потом серым.

Сначала я услышала её голос в коридоре: тонкий, торопливый, умоляющий. Потом звякнул засов, и в камеру боком, придерживая локтем корзину, протиснулась девушка лет семнадцати. Худенькая, веснушчатая, в простом коричневом платье и белом чепце, из-под которого выбивались светлые кудряшки.

Увидев меня, она застыла. Корзина накренилась, и я испугалась, что сейчас всё полетит на пол.

— Госпожа, — прошептала она. — Ох, госпожа...

И расплакалась.

Плакала она так, как плачут дети: сразу всем лицом, без стеснения, с икотой и мокрым носом. Поставила корзину, упала передо мной на колени прямо в солому, схватила мои руки и прижала к лицу. Пальцы у неё были холодные и шершавые, как у человека, который много стирает.

Я не знала, что делать. Я двенадцать лет сообщала родственникам о смерти их близких и научилась держать лицо при любых слезах. Но никто ещё не плакал так надо мной — над живой. Точнее, над той, кто сидела на моём месте.

— Ну всё, — неловко сказала я и погладила её по чепцу. — Всё. Я жива.

Она подняла на меня зарёванные глаза.

— Мне сказали, что вы ночью умираете. Что лекарь... — Она осеклась и замотала головой, будто вытряхивая из неё слово. — Я всю ночь молилась. Всю ночь.

В корзине оказались хлеб, сыр, яблоки, глиняный горшочек с ещё тёплой кашей, гребень, чистая сорочка и шерстяная шаль. Нисса раскладывала всё это на настиле, как сокровища, шмыгая носом и приговаривая, что каша с мёдом, как я люблю, и что шаль она взяла из моего сундука, пока его не забрали.

— Кто забрал? — спросила я.

— Ваш батюшка велел. — Она опустила глаза. — Лорд Корвель приказал вынести ваши вещи из дома и... и сжечь. Сказал, у него больше нет старшей дочери. Шаль я спрятала. И гребень. Простите.

Я ела кашу — она и правда была с мёдом, сладкая до приторности, и я съела всё до дна, потому что тело было голодным, а тело не спрашивало, нравится ли мне мёд, — и задавала вопросы. Осторожно, издалека, как опрашивают напуганного свидетеля.

Ниссе было семнадцать. Она служила Илайне четыре года, с тех пор как та переехала в столицу. Илайне двадцать два. Мать умерла, когда ей было девять, отец женился снова. Мирра — дочь его второй жены, на два года младше. Нет, не родная — приёмная, мачеха взяла её откуда-то совсем крошкой. Но лорд Корвель любил её как родную. Больше, чем... Нисса снова осеклась.

— Больше, чем меня, — закончила я.

Нисса посмотрела на меня с тревогой.

— Вы раньше так не говорили, госпожа.

— Раньше я, видимо, много чего не говорила.

Она помолчала, теребя край фартука.

— Вы правда не помните?

— Почти ничего.

— Совсем ничего про ту ночь?

— Совсем.

Мне показалось, или её плечи чуть опустились — как от облегчения? Я отложила это на ту же полочку, где уже лежали «лекарь» и «ночью».

— Нисса, — сказала я. — Ты сюда ночью приходила?

Она вздрогнула так сильно, что ложка, которую она держала, звякнула о горшок.

— Нет! — Слишком быстро и слишком громко. — Нет, госпожа, кто ж меня ночью пустит. Я у ворот стояла до темноты, а потом меня прогнали. Я у ворот...

— Хорошо, — сказала я мягко. — Хорошо. Я просто спросила.

Когда я доела, она взяла гребень.

— Дайте я вас причешу. У вас все волосы сбились, а вы всегда... — Она запнулась. — Вы всегда так их берегли.

Я хотела отказаться. Мне было не до волос. Но она смотрела так умоляюще, что я повернулась к ней спиной.

Она расчёсывала меня долго и бережно, прядь за прядью, распутывая колтуны пальцами, чтобы не дёргать. От её рук пахло мылом и той самой лавандой, которую я почуяла утром в соломе. Это было так неожиданно приятно, что я на минуту закрыла глаза. Мне никто не расчёсывал волосы с тех пор, как мне было лет восемь.

Потом она стала заплетать косу. Подняла волосы с затылка, и пальцы её остановились.

Ненадолго. На один вдох. Я почувствовала, как они замерли у меня на затылке, чуть ниже линии роста волос, и как она перестала дышать.

— Что? — спросила я, не оборачиваясь.

— Ничего. — Голос ровный, только чуть тоньше, чем был. — Колтун. Сейчас.

Пальцы снова задвигались — быстро, ловко, сплетая тяжёлую медную косу. Она перевязала кончик лентой из кармана и отодвинулась.

— Вот. Так лучше.

Стражник постучал в дверь: время вышло. Нисса засуетилась, собирая пустой горшок и корзину. Уже у двери, когда засов со скрежетом отъезжал, она вдруг развернулась, бросилась ко мне и обняла. Крепко, порывисто, уткнувшись мокрым лицом мне в плечо.

И прошептала прямо в ухо — так тихо, что я скорее почувствовала слова кожей, чем услышала:

— Не пейте ничего, что приносит не я.

А потом её уже не было, и дверь закрылась, и шаги стихли в коридоре.

Я сидела в сгущающейся темноте, кутаясь в чужую шаль, и медленно провела рукой по затылку. Под тяжёлой косой, там, где остановились пальцы Ниссы, кожа чуть саднила. Совсем немного. Как от ожога, который почти зажил.

Зеркала в камере не было.

Завтра на рассвете ко мне придёт палач. А у меня уже была одна служанка, которая врёт, один капитан, который не задаёт вопросов, и один лекарь, которого никто не помнит.

Для первого дня следствия — совсем неплохо.

Глава 3

Я почувствовала его раньше, чем услышала.

В камере всю ночь стоял холод — тот самый, каменный, который поднимался от пола и забирался под шаль, сколько её ни подтыкай. Я спала урывками, просыпаясь каждый раз, когда в коридоре звякали ключи. А перед рассветом холод вдруг отступил.

Не сразу, а будто кто-то медленно открывал заслонку печи. Сначала потеплел воздух у двери. Потом камни под ногами. Потом я поняла, что больше не дрожу, и села на настиле, стянув шаль на груди.

Шаги в коридоре были неторопливые и почти беззвучные. Ни звона ключей, ни шпор. Так ходят люди, которым незачем объявлять о себе: о них объявляет всё остальное.

Засов отъехал. Дверь открылась.

Он вошёл, пригнувшись под низкой притолокой, и выпрямился, и камера сразу стала меньше. Не потому, что он был огромным, хотя ростом его бог не обидел. А потому, что он занял её целиком: своим теплом, своей неподвижностью, своим молчанием.

В кино палачей рисуют в красных колпаках и с топорами. Этот был в чёрном — простой чёрный камзол без вышивки, чёрные штаны, высокие сапоги. Единственное украшение — тяжёлая серебряная цепь на груди с медальоном в виде языка пламени. Лицо открытое. Резкое, худое, с высокими скулами и жёстким ртом. Чёрные волосы, собранные на затылке в короткий хвост. Возраст — около тридцати, но с такими лицами возраст условен.

И глаза.

Я много чего видела за двенадцать лет в следствии. Я видела глаза убийц, которые раскаивались, и глаза убийц, которые нет. Но у людей не бывает таких глаз. Тёмно-золотых, как старый мёд, с узким вертикальным зрачком, который чуть расширился, когда взгляд остановился на мне.

Дракон, сказал стражник. Драконий огонь.

Я думала — фигура речи.

— Илайна из рода Корвель, — сказал он.

Голос был низким и ровным, без интонации, как у диктора, зачитывающего сводку. Он стоял у двери, не приближаясь.

— Встаньте.

Я встала. Не потому, что он велел, а потому, что сидеть перед ним было невыносимо.

— Я, Кайрен из рода Морвейст, Палач короны Астрена, пришёл объявить вам срок. — Он сделал шаг вперёд. — Протяните левую руку.

— Зачем?

Он посмотрел на меня. Вертикальный зрачок дрогнул.

Видимо, обычно ему не задавали вопросов.

— Обряд покаяния, — сказал он после паузы. — Метка отсчитывает дни. Она не причинит боли.

— А если я откажусь?

— Тогда я возьму руку сам. — Без угрозы, просто констатация. — Это причинит боль.

Я протянула руку.

Он взял её за запястье. Пальцы у него были сухие и горячие, как нагретый на солнце камень, и я едва не отдёрнула руку от неожиданности. Он перевернул её ладонью вверх и накрыл своей.

— Илайна из рода Корвель, — сказал он, глядя мне в глаза. — Королевский суд Астрена признал вас виновной в убийстве его высочества Эдрика. Корона даёт вам тридцать дней пока-

яния, по одному за каждый год, что прожил убитый. По истечении срока вы будете преданы очищающему пламени. Пусть огонь будет свидетелем.

Под его ладонью разгорелся свет.

Сначала слабый, как отблеск углей. Потом ярче. Тепло стало жаром, но не обжигающим, а глубоким, проникающим под кожу, как горячая ванна после мороза. Я видела, как сквозь его пальцы пробивается золотое сияние.

А потом оно мигнуло.

Совсем коротко — как лампочка при скачке напряжения. Свет потускнел, почти погас, и тут же вспыхнул снова, но уже неровно, прерывисто.

Кайрен нахмурился. Впервые с того момента, как вошёл, на его лице появилось хоть какое-то выражение — и это было недоумение. Он посмотрел на наши руки, потом на меня, и я увидела, как его зрачок сжался в тонкую черту.

— Пусть огонь будет свидетелем, — повторил он тише и твёрже, с нажимом, будто приказывал.

Свет вспыхнул ровно и погас.

Он отпустил мою руку и отступил на шаг.

Я посмотрела на запястье. На внутренней стороне, там, где бьётся пульс, теперь светились крошечные золотые точки, выстроенные в два ровных полукруга, как чешуйки. Я машинально пересчитала. Двадцать девять.

— Здесь двадцать девять, — сказала я.

— Первый день прошёл, пока вы были без сознания. — Он смотрел не на меня, а на свою ладонь, сжимая и разжимая пальцы. — Каждую полночь гаснет одна.

В полночь. Я опять подумала о часах на стене, о стрелках на без тринадцати двенадцать, и по спине прошёл холодок, несмотря на жар, который ещё стоял в камере.

* * *

Он развернулся к двери. Обряд был окончен, и, судя по всему, на этом наше знакомство тоже.

— Подождите, — сказала я.

Он остановился, но не обернулся.

— Вы были на суде?

Пауза.

— Палач присутствует на каждом суде, где может прозвучать огонь.

— Значит, были. — Я подошла ближе — на шаг, не больше. От его спины всё ещё шло тепло. — Что вы видели?

Теперь он обернулся. Медленно, всем корпусом, и посмотрел на меня сверху вниз так, как смотрят на собаку, которая вдруг заговорила человеческим голосом.

— Обычно в этот момент, — сказал он, — плачут. Или проклинают. Или молят.

— Я вам что-то должна?

Уголок его жёсткого рта дрогнул. Не улыбка — скорее намёк на то, что улыбка там когда-то водилась.

— Нет.

— Тогда ответьте на вопрос. Что вы видели на суде?

Он молчал так долго, что я решила: не ответит. Потом сказал:

— Трёх свидетелей. Каждый положил руку на камень Клятвы и описал, как вы ударили принца кинжалом. Ни у одного не осталось ожога.

— Подробно описал?

— Достаточно.

— Одинаково?

Зрачок дрогнул.

— Что вы имеете в виду?

— Вы когда-нибудь допрашивали трёх свидетелей одного события? — Я говорила быстро, пока он слушал. — Никогда, ни разу в жизни три человека не видят одно и то же. Один запомнит цвет платья, другой — кто кричал, третий будет клясться, что всё было на минуту позже. Если три рассказа совпадают слово в слово, значит, их либо отрепетировали, либо... — Я осеклась.

— Либо?

Либо их кто-то написал, хотела сказать я. Но это была пока только версия, а версии вслух не произносят.

— Либо мне стоит прочитать протоколы, — сказала я.

Кайрен смотрел на меня. Тёмное золото его глаз было непроницаемым, как поверхность пруда, под которой может быть и мелко, и бездонно.

— Вам не дадут протоколов.

— Посмотрим.

— Вы осуждены, леди Корвель. Вам не дадут ничего, кроме еды, воды и времени.

— Вот время мне и нужно. — Я подняла запястье с золотыми точками. — Двадцать девять дней. Где вы были в ночь убийства?

Вопрос вылетел сам — я задавала его, наверное, тысячу раз, всем, кто хоть как-то касался дела. Рефлекс.

Но Кайрен не ответил.

Он не сказал «дома», или «на службе», или «не ваше дело». Он просто замолчал, и это молчание было другим — не высокомерным, как раньше, а закрытым, как захлопнутая дверь. Только на скулах проступили два красных пятна, будто под кожей полыхнуло.

— Это не имеет отношения к вашему делу, — сказал он наконец.

Это был не ответ. Я положила его на отдельную полочку, рядом с лекарем, Ниссой и табуретом капитана Грейла. Полочек в моей голове становилось многовато для второго дня.

А он вдруг шагнул ко мне. Я не успела отступить: его рука поднялась и остановилась в сантиметре от моей шеи, не касаясь. Я почувствовала жар от его пальцев на припухшей коже.

— Кто? — спросил он.

Всего одно слово, но в камере сразу стало жарче, будто кто-то подбросил дров. Зрачок в его глазах сузился до нитки.

— Капитан Грейл считает, что я сама, — сказала я. — В приступе раскаяния.

— Никто не может задушить себя сам.

— Вот и я ему так сказала.

Он опустил руку. Жар схлынул так же быстро, как поднялся.

— До истечения срока никто не тронет вас, — сказал он ровно. — Это мой срок, и мой приговор. Больше ничей.

Как ни странно, мне стало легче. Хотя, если подумать, мне только что пообещали, что сжечь меня сможет только он.

— Вам нравится ваша работа? — спросила я, сама не зная зачем.

Он посмотрел на меня долгим взглядом.

— Нет, — сказал он.

Просто «нет». Без пафоса, без горечи, как отвечают на вопрос, который давно себе задали и на который давно ответили.

У двери он остановился ещё раз.

— Не тратьте эти дни на ненависть ко мне, леди Корвель, — сказал он, не оборачиваясь. — Потратьте их на тех, кого любите.

— Я потрачу их на того, кто это сделал.

Он обернулся.

— Вы говорите, что не убивали принца?

— Я говорю, что вы собираетесь сжечь не того человека.

На этот раз он молчал очень долго. Я выдержала его взгляд — не потому, что была храбрая, а потому, что двенадцать лет училась не отводить глаз первой.

Потом он вышел. Засов лёг на место.

Холод вернулся не сразу. Сначала остыл воздух у двери, потом камни под ногами, потом я снова начала дрожать и плотнее закуталась в шаль. Только тогда я поняла, что всё время, пока он был здесь, мне было тепло. Впервые с тех пор, как я очнулась в этом теле.

Я села на солому, обхватив колени, и попыталась думать о деле. О трёх свидетелях. О словах, которые совпадают слишком хорошо. О том, где мне взять протоколы.

А думала о другом.

О его руке на моём запястье — сухой, горячей, осторожной, хотя он только что пообещал, что иначе будет больно. О том, как он смотрел на синяки у меня на шее: не как на улику, как я смотрела бы, а так, будто это его ударили. О красных пятнах на его скулах, когда я спросила, где он был той ночью. О коротком, честном «нет» на вопрос, нравится ли ему его работа.

О его глазах. Я двенадцать лет смотрела людям в глаза и умела читать их, как протоколы. Страх, ложь, вина, злость, усталость — у всего свой почерк. Его глаза я не могла прочесть. Тёмное золото, вертикальный зрачок, и под ними — что-то глубокое, неподвижное, очень старое. Как вода в колодце, где на дне, может быть, что-то лежит, а может быть, ничего.

Я поймала себя на том, что хочу узнать, что там на дне.

Это была плохая мысль. Очень плохая. Это был человек — существо, — который через двадцать девять дней поднимет руку и сожжёт меня на площади. Последнее, что мне было нужно, — гадать, что лежит на дне его глаз.

Мне это не понравилось. Совсем.

Я посмотрела на запястье, где светились двадцать девять золотых точек, и начала считать.